

В.А. Кожевников

«Цель жизни нашей...» Евгений Онегин

Евгению Онегину ко времени его встречи с Ленским, кажется, все в основном было ясно: жизнь бессмысленна, пуста и никакой высокой цели у жизни нет.

И. Киреевский писал:

«В конце осемнадцатого века господствующее направление умов было безусловно *разрушительное* <...> Замечательно, что даже мысль о новом, долженствовавшем заступить место старого, почти не являлось иначе, как *отрицательно* <...> Под *свободой* понимали единственно отсутствие прежних стеснений <...> царством *разума* называли отсутствие предрассудков или того, что почитали предрассудками — и что не предрассудок пред судом толпы непросвещенной? Религия пала вместе с злоупотреблениями оной, и ее место заступило легкомысленное неверие. В науках признавалось истинным одно ощутительно испытанное, и все сверхчувственное отвергалось не только как недоказанное, но даже как невозможное. Изящные искусства от подражания классическим образцам обратились к подражанию внешней неодушевленной природе <...> В философии господствовал грубый, чувственный материализм. Правила нравственности сведены были к расчетам непросветленной корысти. Одним словом <...> вся совокупность нравственного быта распадалась на составные части, на азбучные, материальные начала бытия».

Этот, по мнению В. Непомнящего, «прямой историко-философский комментарий к первой главе» романа многое проясняет в понимании характера и поступков героя.

В Онегине противостоят два начала — дарованное каждому стремление жить по совести, жить сердцем, душой; и в сущности противостоящие этому рационалистические правила светского общежития, «общественного договора»; рассудочные правила, регламентирующие «естественное право» каждого на удовлетворение своих «потребностей» на основе искусственно создаваемой «морали» с ее искусственно создаваемыми представлениями о чести, долге, чувстве собственного достоинства и пр.

Описание «одного дня» Онегина есть описание некоего «пира жизни», на котором все — и прогулки, и обед, и ужин в ресторане, и театр, и роскошные безделушки в «уединенном кабинете», и бал — все, «потребляется», «съедается» героем как некий «обед» жизни...

Философия потребления — «пищеварительная», если использовать слово Достоевского.

Но неужели человек рожден для этого?

В какой-то момент Онегин почувствовал разлад в душе, стремящейся к осознанию высокого предназначения человека, но разрушаемой пошлым и бесконечным «потреблением» жизни — ее «убийством».

Общество ли в этом виновато?

Общество может быть ответственно лишь в той мере, в какой оно насильно препятствует свободному развитию личности.

Онегин был совершенно свободен.

К хандре и разочарованию вела его неспособность осмыслить жизнь на иных, духовных основах, началах и принципах.

Онегин полон неосознанного ощущения поправленного человеческого назначения. Он всем существом своим противится «пищеварительной» философии, но, не принимая ее, он, кажется, «не знает, что его болезнь — это крах миропонимания; напротив, он убежден, что все на свете уже знает, что виновен несовершенный мир, что жизнь исчерпана им как таковая» (В. Непомнящий). Это ощущение бессмысленности жизни губит изначально

присутствующие в нем, как и в каждом человеке, «чувства добрые»; ведет его к мыслям о самоубийстве, цинизму, но, отметим, и в «охладевшем к жизни» Онегине дремлет доброе чувство если не любви, то по крайней мере заботы о ближнем: он облегчает жизнь своим «рабам», заменив старинную барщину «оброком легким», за что и благословляет раб судьбу. И пусть это благое деяние Онегин совершает, «чтоб только время проводить», но ведь совершает его в ущерб себе.

Онегин может быть внимателен и чуток, снисходителен к слабостям и недостаткам других и даже способен «вчуже чувство уважать».

И то, что Татьяна, «милый идеал» автора, полюбила Онегина, о многом говорит само по себе.

Почему же Онегин не ответил на ее любовь?

Вероятно, потому, что душа его еще не пробудилась.

Онегин, подобно автору романа, мог бы сказать о себе:

Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви.

Но у Пушкина

Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты...

Здесь важно отметить: сначала «душе настало пробужденье», а потом пришла любовь. Иначе говоря, не потому душа пробудилась к жизни, что полюбил, а потому и полюбил, что душа пробудилась, воскресла.

У Онегина душа в тяжелом усыпленье, и он, любя Татьяну «любовью брата//И, может быть, еще нежней», думается, совершенно искренне, как умеет, говорит о своем «жребии», как он ему видится, и рисует действительную, в его представлении, картину будущего семейного с ним «счастья»,

...где бедная жена
Грустит о недостойном муже
И днем и вечером одна;
Где скучный муж, ей цену зная
(Судьбу однако ж проклиная),
Всегда нахмурен, молчалив,
Сердит и холодно-ревнив!
Таков я.

Возрождение души не может произойти в один миг, «вдруг», не произошло оно и с появлением Татьяны.

Но очищение началось: Онегин, кажется, впервые говорит о совести:

Поверьте (совесть в том порукой),
Супружество нам будет мукой.

Впрочем, все не так просто: говоря о совести, «исповедуясь» и «проповедуя», Онегин, сам того, может быть, не желая, дает Татьяне первый урок «науки страсти нежной» — совет «благоразумный»:

«Полюбите вы снова, но...
Учитесь властвовать собою;
Не всякий вас, как я, поймет;
К беде неопытность ведет».

«Судить» ли Онегина за эту проповедь? Упрекать ли его? Сетовать на то, что он сам убил свое счастье? Или согласиться, что

...очень мило поступил
С печальной Таней наш приятель;
Не первый раз он тут явил
Души прямое благородство.

Как быть?

Сама Татьяна вспоминает об этом «уроке», суровой проповеди с болью, но —

Я не виною: в тот страшный час
Вы поступили благородно,
Вы были правы предо мной:
Я благодарна всей душой...

При этом нельзя не заметить, что душа Онегина, благородная и совестливая от природы, столь исковеркана соблазнами, страстями, рационализмом «пищеварительной» философии, превращающей и любовь в «науку», что жизнь в момент кризиса осознается как бессмыслица. И воздействие этих грозных сил столь сильно, что, не умея им противоборствовать, Онегин становится невольным (но не случайным) убийцей...

После этого может ли быть возрождение души, возвращение к жизни?

Вот что писал В. Соловьев о возможном исходе последней дуэли Пушкина:

«Добровольно отдавшись злой буре, которая его увлекала, Пушкин *мог и хотел* убить человека, но с действительной смертью противника вся эта буря прошла бы мгновенно, и осталось бы только сознание о бесповоротно совершившемся злом и безумном деле. У кого с именем Пушкина соединяется действительный духовный образ поэта в его зрелые годы, согласится, что конец этой добровольной с его стороны, им самим вызванной дуэли — смертью противника — был бы для Пушкина во всяком случае жизненною катастрофою. Не мог бы он с такою тяжестью на душе по-прежнему привольно подниматься на вершины вдохновения для “звуков сладких и молитв”; не мог бы он с кровью нечистой человеческой жертвы на руках приносить *священную жертву* светлому божеству поэзии <...> При той высоте духа, которая была ему доступна и которую так явно открыли его последние мгновения, легких и дешевых расчетов с совестью не бывает.

Для примирения с собою Пушкин мог отречься от мира, пойти куда-нибудь на Афон, или он мог избрать более трудный путь невидимого смирения, чтобы искупить свой грех в той же среде, в которой его совершил и против которой был виноват своею нравственною немощью, своим недостойным уподоблением ничтожной толпе. Но так или иначе, — под видом ли духовного или светского подвижника, — во всяком случае Пушкин после катастрофы жил бы только для дела личного душеспасения, а не для прежнего служения чистой поэзии <...> При том исходе дуэли, которого бы желали иные поклонники Пушкина, поэзия ничего бы не выиграла, а поэт потерял бы очень много: вместо трехдневных физических страданий ему пришлось бы многолетнею нравственною агонией достигать той же окончательной цели: своего духовного возрождения».

Онегин, оставив после убийства Ленского «свое селеньем/Лесов и нив уединенье,/Где окровавленная тень//Ему являлась каждый день», пустился в странствия... «без цели».

Что творилось в душе Онегина?

«Тоска, тоска...» Не скука, не печаль, а именно — тоска! Тоска и «горьки размышленья».

Путешествия Онегина — это время усилившегося кризиса, когда смерть (опять!) кажется выходом, избавлением от тягостной и бессмысленной жизни.

Зачем я пулей в грудь не ранен?
Зачем не хилый я старик,
Как этот бедный откупщик?
Зачем, как тульский заседатель,
Я не лежу в параличе?
Зачем не чувствую в плече
Хоть ревматизма?

Впрочем, нетрудно в этих словах почувствовать иронию.

Покаяния, кажется, не произошло. Путешествия как начались «без цели», так и закончились: они Онегину, «как все на свете, на д о е л и ...».

Он возвратился. Он вновь встретил Татьяну, он пишет ей письмо с признанием в любви...

«Душе настало пробужденье»?

Для прежней «светской» жизни, для «наслаждений», для всего, что поставило когда-то Онегина на край гибели, может быть, и настало...

Но для, по крайней мере, осознания безнравственности своего предложения Татьяне душа Онегина спит, не пробужденная совестью. Он, кажется, не подумал, что собирается строить свое счастье, сделав несчастным другого...

Но, может быть, после объяснения Татьяны, после признания в любви («Я вас люблю... Но я другому отдана»), может быть, Онегину открылась высокая нравственная суть души «смирной девочки» и причина ее «смирности»?

Можно ли верить в возможность нравственного, духовного возрождения Онегина?

А можно ли верить в возможность духовного возрождения Родиона Раскольникова? А разве были просты поиски, потери и обретение смысла жизни Андреем Болконским, Пьером Безуховым, Наташей Ростовою?..

А путь обретения истины самим Пушкиным?

И разве нет надежды, что сущностные основы духовного мира Татьяны, русского духовного мира, не останутся для Онегина чуждыми?